

Бездушной.

Сильны крылья мои, властен мощный размах:
Захочу и взвоюсь въ бирюзовый просторъ
И тебѣ закружу на воздушныхъ волнахъ
Надъ лазурью морей, надъ вершинами горъ...

Если хочешь—кружишь, какъ орлица, со мной.
Или голубчикъ прилети на орлиную грудь.
Или обвей вокругъ подолоднюю змѣй,—
Но не будь только камнемъ бездушнымъ, не будь...

Я безъ страха въ лицо бурямъ жизни смотрю.
Сердце гордо открыто навстрѣчу судьбѣ.
Хочешь—страстно замкнусь, хочешь—въ мукахъ сгорию.
Хочешь—скроюсь, иду, поклонившись тебѣ.

А ужалитъ, убьетъ... что-жь, мнѣ смерть не страшна:
Въ гордой гибели нѣтъ рокового стыда.
Жизнь и смерть за любовь—вотъ простая цѣна.
Но бездужно служить—никогда, никогда!

И. Тачадовъ.

На постояломъ дворѣ.

Въ одномъ изъ приобскихъ городовъ пришлось мнѣ пробить нѣсколько дней на постояломъ дворѣ.
Съ виду опрятный, съ „дворянской“ попоной, дворъ впускалъ добрые и, за дешевую плату, обшарилъ бы сосиски пріютъ, „Дворская“ состояла изъ двухъ комнатъ, и въ одной изъ нихъ, пополунику, давно уже жили двое: одинъ—не то торговцевъ, не то подрядчиковъ, степенный, съ длинной черной бородой, другой—безусый, молодой, въ форменной фуражкѣ. Наружность обоихъ живописно также подчеркивала благонадежность постояла.

Я поселился здѣсь.
Но въ первый же вечеръ съ черной попоной посылаешь шумъ, отдаленныя выкрики, а потомъ изъ корридора уже ясно стали доноситься скверная брань и хлестки, характерно шлепающіе удары по человѣческому тѣлу.
— „Вертепъ!“—подумалъ я; но въ ту же минуту степенный торговецъ, горестно-необорачивая вѣздочку, прошепталъ:

— Вытепъ! Олетъ бѣтъ...
— Молодой, что-то писавшій при лампѣ, густо покраснѣлъ и нисколько склонился надъ столѣмъ; потомъ откинулся на спинку стула, залоркнулъ голову и прикрылъ рукой глаза.
Было очевидно—оба они знаютъ что то такое, что бередитъ имъ нер-

вы, но съ чѣмъ неизбежно приходится мириться.
Черезъ минуту молодой, нервно издвигнувъ фуражку, вышелъ, почти выбѣжавъ изъ комнаты и хлопнувъ калиткой.
На дворѣ кто-то въ окно жестко ругался, и черезъ открытое окно было слышно, какъ гремѣтъ заставы, звякаютъ ключи, и, плетясь двери по двору суетливо перебѣгаютъ лужи, испуганно-торопливо шлепаютъ по газону, и полуполотенцо перекидывается въ темнотѣ. Потомъ стало тихо—дворъ затихъ, прикрытый тенью нечастной ночи.

Торговцевъ молчаливъ, мучительно ворочаясь въ постели, и я не рѣшился заговорить съ ними. Въ незнакомомъ мѣстѣ не спавшись, вставая душно, тѣсно, точно дѣлать потоптѣвъ, Мятинкинъ старухъ ржавчѣхъ часовъ, неровно сшитая скучная, тоскливо поскрипывала, какъ будто украдкой стоналъ тихонько. И напряженная, пританцовывая тишина становилась все тоскливѣе.
Въ лондонѣ снова послышались рѣзкіе, скрипящій голоса, въ корридорѣ вступали тишею слезы, и въ нашу комнату неожиданно брызнула свѣтъ.

На порогѣ, съ высоко подвинутой лампой въ рукахъ, остановился выскіи, съ костлявыми широкими плечами, неуклюжий ларенъ. Лицо его

арко осѣненное лампой, было красно и лоснилось, длинные щетинистые усы свирло топорились, и глаза, покрытые сѣткою красныхъ жилокъ, угрожающе-пытливо ошупывали стѣны. Онъ грузно шагнулъ въ комнату, ниже спустилъ лампу и, согнувшись бычьимъ изгибомъ, натеропиломъ оглядывалъ комнату уже мнѣ хозяйка дѣлала—толстая, жирная баба, съ узкими, заплясанными жиромъ, ватскими глазками.
— Кто такіе?—равнялись ларенъ, и щетинистые усы, отбрасывая колеблющую тѣнь на бритые щеки, сердито зашевелились.

Стали приторно-слащавымъ голосомъ заговорили хозяйка:
— Да чего ты это, Иванъ Кузьмичъ! Не знаешь ли, чо ли, право...
— Документъ!—снова равнянулъ ларенъ.

Торговцевъ пришлось съ подушки и тѣрпачки взглядомъ упереть въ пыльное усатое лицо. Тотъ медленно отъшелъ въ сторону нутно-стеклянные глаза и повернулся ко мнѣ; поставивъ, покачивая махнутой лампой, и прочно устоявъ на край постели.

— Кто такой? Документъ!
— Снова слышалъ зальца хозяйка:
— Иванъ Кузьмичъ! Да чего ты, право! Или вѣдь еще уграмъ пристаиваи пачелотъ...
— Мнѣ! Нужно мнѣ ознакомитъ—се со своими пассажирами или нѣтъ?
И снова ко мнѣ:
— Документъ!
— Передай хозяйкѣ,—откавалъ.
— Этого малой въ кой-мѣ предъавите: откуду, кузъ и зальца!

И такъ кузъ я отказался „предъавитъ“ это—усатѣ, угрожающе взглянувъ на меня, шумно всталъ, предо стерегающе крикнулъ и, тяжело ступая, пошелъ въ двери. За нимъ, по пылу зальца, заискивающе повторяя: „То-убитъ. Рана, Ванечка!“

— Видишь?—спустя минуту спросилъ торговецъ.
— Убравъ... Что это такое?
— Управляющій, видите-ли...
— Въ чемъ-же дѣло?
— Въ томъ, что старая дура не редъ, мнѣ на завѣщаніи далакъ... Онъ, какъ-съ, бутарѣи мнѣ, городомъ, чѣмъ былъ, потомъ сыдѣнокъ, мнѣ, примазалъ... Зальца въ свои лапы и се самое, и дворъ, и асе... А дѣти въ загонѣ. Эхъ!и Вуцъ жалъ!

Ежели-бы они въ чѣхъ пошли—не такъ-бы обидно. А то... старшая дочь, вошь, полаяеъ она, сынъ-учитель, а

младшая въ гимназій, въ питомѣ, какъ-же, классъ... Не дай Богъ!
Снова тишина и ржавое поскрипыванье матинка—точно кто-то маленькій украдкой, слабо, постанываетъ гай-то въ темномъ углу.

Я спросилъ торговецъ:
— Почему же они не уйдутъ отъ такой... отъ этой матери?
— Зальца!и, видите-ли, такое оставилъ отецъ: учиться и асе-такое, а жить при матерѣ, до совершеннѣйшѣ, значить до вѣлеки имущества.
А пока хозяйка—она, Ну, старшая-то давно замужемъ, за попомъ, а втѣ-здѣсь. Сынъ мужикъ дѣтей учить, а дома распорядится ничѣмъ не можетъ, и живетъ, вотъ, съ нами, постояльцами. Дѣвушка тоже на возрастѣ съ ужмъ... Живетъ тамъ, съ ними, на зальской половинѣ. А усачъ воть при ней и материтъ, и бьетъ мать...
Напѣется—буянитъ съ постояльцами, какъ воть дачеа...
— Зальца же вы здѣсь?
— Зальца, а потомъ... жаль воть ребятъ. Живу, глажу—что будетъ...

—

Кто то протирнулъ: ставно у окна, выдвигавшаго на улицу, и пытался раскрыть ставорку.

— Сейчасъ—крикнулъ торговецъ, всталъ, зажегъ лампу и шелкливо шингалетомъ. Въ окно влѣзъ зовѣискій сынъ, который вечеромъ писалъ при лампѣ и хлопнулъ потомъ калиткой. Съ такни-же, какъ у матери, свѣтло-голубыми, но шире раскрытыми, мнѣ глазами на скуластомъ, почти безбородомъ лицѣ, онъ,—почти юноша,—подкупалъ своей свѣжестью, и самая угловатость линий сглаживалась влудичностью взгляда. Вокругъ безбородого, немного припухлаго рта, залегла уже складка горечи, и даже при улыбокѣ выраженіе ранней скорби не сходило съ чолового лица. Незамомно, онъ какъ-то сразу сталъ близокъ мнѣ.

Чтобы не беспокоитъ новаго „пассажира“, онъ старался не стучать и осторожно присѣлъ на свою кровать, тихонько расшнуровывалъ ботинки.

Пока онъ раздѣвался, я почесу-то лицо котораго такъ и пресидно поше шнѣт. И мнѣ, кто-то предъавлялся его неуклюжая фигура, расшнурованная на малѣйшихъ пуховикъ... Пользъ грудой подушкѣ сгратаны ключи отъ входовъ, а рядомъ—безвольная, рас-

плывшая, покорная старческой страсти—мать учителя и гимназистки, притаившейся гай то тут-же, подь боком...

Я бы через минуту заплакал, если бы не глосы учителя, погасившего уже лампу.

— Тут... вы простите меня,—не приходил ктo нибудь... с рыжками, такими сердитыми усам?

— Приходил.

— И?

Я передал сцену.

— Вы что-же думаете, скрипнуло кроватку, быстро заговорил он,—в-и думаете, что я мирюсь с этим? Вы, можете быть, полагаете, что мы, маленьке люди, как навоз,—слушью удобрением почва для таких, как этот бутарь и сыщик, как моя нелюбя мать? Вы, можете быть, судя по вашему философскому спокойствию, принадлежите к той славной плеяде, которая, смена слабыми ножками, старается попасть в гигантские следы, оставленные Ницше? Да?

— Митя! Не горячись. Чую,—он не такой...

Анкудиничъ! Ты ничего не понимаешь. Я знаю, что говорю, я знаю, что онъ, вотъ этотъ субъектъ, таитъ что-то...

Какъ пружина, онъ метнулся на скрипящей кровати и изъ своего невидимаго угла, въ узоръ, какъ стръ ляютъ въ опаснаго, прячущагося врага, выкрикомъ бросилъ въ темноту:

Кто бы вы ни были,—не мѣшайте мнѣ!

Я подумала, что этотъ полу-юноша со страдальческой складкой у рта, съ ясно-голубыми глазами, тихий, какъ будто прячущийся въ свою раковину, въ темнотъ раскрываетъ эту раковину и говоритъ то, чего уже не скажетъ завтра. И еще подумалъ: я пилъ навѣрное, и завтра будетъ стыдиться своихъ словъ.

Но онъ снова, настойчиво и твердо, повторилъ свое предостереженіе и притихъ, какъ-бы прислушиваясь къ каждому движению, которое сказало бы ему больше, чѣмъ длинная, убѣдительная рѣчь.

Мнѣ показалось, что если я отдалюсь обыкновенной фразой, которая ничего не говоритъ,—произойдетъ что-то непонятное, быть можетъ,—кошмарное.

— Что?—отозвался я, и считалъ секунды, вмѣсто того, чтобы дать отъ вѣтъ,

Было тихо.

Я знаю, что онъ мучительно ждетъ, и невпопадъ сказалъ:

— Обратитесь къ властямъ, васъ защитятъ...

— А! Да вѣдь—не то! Вѣдь тамъ говорятъ,—достигаете совершеннолѣтія! Я вотъ призываетъ воспитывать будущее поколѣніе гражданъ, а самъ не имѣю гражданскихъ правъ настолько, чтобы уберечь свою мать отъ разложения, которое дѣлаетъ уже и надъ моей сестрой. Понятно?

— Да.

— Митя!—вѣшался торговецъ и, слышно было, приподнялся на кровати.—Разговорами не поможешь. Терпи...

Митя неожиданно притихъ, и съ минуту комната молчала.

Потомъ онъ тихо заговорилъ въ темноту:

— Я вѣдь тоже люблю... дѣвушку, которая меня можетъ сдѣлать ласкенымъ, а между тѣмъ... Вообще жить не надо. Завтра я сброшу лирево учителя, и меня въ сонда совершеннолѣтія возьмутъ въ солдаты.

Слово «совершеннолѣтія» онъ произнесъ сквозь зубы и снова притихъ... Маятникъ старыхъ часовъ, по-прежнему ржало стоналъ, и жуткое молчаніе наполнило такъ-же тихо и незаметно, какъ зарождался тоска. Хотѣлось криковъ, движеній, стукновъ—хотя бы такъихъ, какъ тѣ, что рождались подъ шагами неуклюжаго унтеръ-альфонса.

Но длинная, какъ годъ, ночь молчала. Одночестая не было, я знаю, что ни Митя, ни торговецъ—не спятъ.

И когда застрѣло въ открытыя на дворъ окна, Митя вступилъ тишину:

— Я не за себя... Со-тру жаль. Вѣдь я убью и себя, и ее, когда она станетъ проституткой...

Торговецъ какъ-бы жалелъ этого:

— Не будетъ. Она унитъ насъ съ тобой. Она знаетъ то, чего не знаешь ты, Митя! Она имъ чужая, а какъ родная! У меня у самаго дочери... Она знаетъ—не думай! Если есть характеръ... Я такъ полагаю, ундера она скорѣе выдворить, чѣмъ ты, какъ кошъ!

— Анкудиничъ—ты не врешь? А тотъ... спать?

— Не знаю.

— Подожди... Дай мнѣ подумать...

— Выпилъ-ты лишнее. Э-эхъ!

— Анкудиничъ!!!

— Ладно...

— Вотъ-что Анкудиничъ. поговорилъ-бы ты съ ней?

— Я? Митя,—спи, вотъ что!

Снова притихъ Митя и уже—надолго: заснулъ, должно быть. Ночь проходила, и лѣтній день, разгораясь, уже гналъ отъ оконъ сѣрый мракъ и осторожно-любопытно заглядывалъ въ комнату къ намъ троимъ. Я не могъ спать и, чтобы совсѣмъ отдалѣлся отъ ночныхъ кошмаровъ, оставивъ маятникъ старыхъ часовъ, вышелъ на дворъ и у колодца облилъ голову студеной водой.

Беззаботно-здорово чирикали воробьи, въ корчѣ плескались утки, и отъ земли, послѣ неясной ночи, поднимался легкій, едва уловимый для глаза, паръ.

Струи сѣваго воздуха какъ будто проникли въ поры тѣла, вмѣстѣ съ кровью разливались по жиламъ, и борщевъ, звучаще къ жизни настроеніе все нарастало.

Когда я вернулся въ комнату, Митя не спалъ и, глядя куда-то въ одну точку на потолокъ, черезъ долгие промежутки мигалъ воспаленными рѣсницами.

— Митя, Митя!—тонкимъ, полудѣтскимъ глосомъ закричалъ кто-то на дворѣ. Митя сорвался съ постели и выбѣжалъ въ сѣни.

— Бьетъ! Опять бьетъ!...—горестно, со вздохомъ сказалъ торговецъ и сбросилъ съ себя одѣяло.

— И жать изъ него управы!...—повторилъ онъ.

Въ окно я видѣлъ, какъ дѣвушка-подростокъ, безъ кофточки, жалась въ углу возлѣ амбара и расширенными страхомъ глазами смотрѣла на хозяйскую половину.

Было ясно, что «унтеръ» снова будетъ, и дѣвушка, сестра учителя, прятется отъ него.

— Черезъ минуту въ комнату вѣжалъ Митя. Закрывая лицо руками, онъ глухо, порывисто рыдалъ. Сквозъ судорожно сжатые пальцы просачивались капли слезъ.

А. ЖИЛИНОВЪ.

